

Борис Савинков

Конь вороной

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.6
ББК 84-4
С13

C13 **Савинков Б.**
Конь вороной / Борис Савинков – М.: Книга по Требованию, 2012. – 56 с.

ISBN 978-5-4241-2177-7

Савинков Борис Викторович - идеолог и активный деятель русского террора, один из лидеров партии эсеров, руководитель боевой организации, писатель. Литературный псевдоним - В.Ропшин. Организатор ряда сенсационных политических убийств, в том числе великого князя Сергея Александровича и министра внутренних дел В.К.Плещеева.

После революции 1917 года активно выступал против большевиков, был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте. С началом Гражданской войны поддержал создателей Добровольческой армии, пытался организовать покушения на Ленина и Троцкого. Арестован ВЧК в 1924 году, приговорен к расстрелу, который был заменен десятью годами заключения.

7 мая 1925 года в тюрьме на Лубянке покончил жизнь самоубийством. Согласно официальной версии Борис Савинков выбросился из окна пятого этажа.

ISBN 978-5-4241-2177-7

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,

«Книга по Требованию», 2012

Борис Савинков (В.Ропшин)
Конь вороной

Часть первая

I

«...и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей».

Откр. VI, 5.

«...кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза».

I. Иоан. II, 11

1 ноября.

Очень хотелось спать, но я сделал над собою усилие и приказал привести Назаренку. Он вошел высокий, в желтой кубанке, и стал на пороге во фронт.

— Садись.

— Постою, господин полковник.

— Садись, вот здесь, напротив меня.

Он для приличия потоптался у двери. Потом сел на краюшек стула.

— Ты рабочий Путиловского завода?

— Так точно.

— Я взял тебя на бронепоезде «Ленин»?

— Так точно.

— Что я сказал тогда? Повтори.

Он задумался и поднял глаза.

— Вы сказали, что каждый может служить; кто не хочет, того расстреляют...

— Нет. Я сказал: кто хочет, служи, а кто изменит, того повешу... Так?

— Так точно.

— А теперь я знаю, что ты коммунист.

Он вздрогнул.

— Сознавайся, кто еще в комячайке?

— Не могу знать, господин полковник.

— А что с тобой будет, знаешь?

— Воля ваша.

— Хорошо. Ординарцы!

Он хотел что-то сказать и даже привстал со стула. Но вошли Егоров и Федя.

— Ординарцы! Полтораста плетей!

Когда его увезли, я, не раздеваясь, лег на кровать. И сейчас же, в темном тумане потонули и Назаренко, и длинный переход на морозе, и сосновый, запорошенный инеем бор, и багрово-желтая дубовая роща, и скрип седел, и гнедая кобыла Голубка. Но за стеной свистнуло и упало что-то, и сильно и равномерно стал содрогаться воздух.

— Господин полковник!

«Сорок два... Сорок три... Сорок четыре»... Сон прошел. Стало душно лежать здесь, в жаркой комнате, в чужом доме, у незнакомого и перепуганного попа. В сенях грубый голос сказал: «Ишь, ворочается... На-голову, Федя, са-

дись»... Это «работал» Егоров.

2 ноября.

Егоров — седобородый крестьянин, пскович. Он старовер, не курит, ест из своей посуды и строго соблюдает закон. Лет пятнадцать назад он из ревности убил брата. Но это — «бабье дело», а в бабьем деле закона нет. Когда он поступил добровольцем, я спросил у него:

— За что ты их ненавидишь?

— Кого?

— Коммунистов.

— Бесов-то? А за что их любить? Дом сожгли и сына убили... Даже пес жалеет своих щенят... На кострах жарить их надо.

— Да ведь белые за помещиков.

— Так чего? Мы помещикам головы-то открутили.

— Когда?

— А вот время придет.

Он дослужился до вахмистра и очень горд своим званием. И когда Федя, смеясь, говорит, что он в прихвостнях у дворян, он сердито трясет седой бородою:

— Язва. Отстань. Я не за бар, — за Рассею.

За Россию... До войны он, наверное, говорил: «мы — скобари», и знать не хотел «калуцких». А теперь на коне и с винтовкой изгоняет из России «бесов».

3 ноября.

Городишко, где мы стоим, убог и неряшлив. Он утонул в сыручем песке. Песок в лесу, песок на дороге, песок на улицах, песок на подушке. Точно мы в Аравийской пустыне. Но в пустыне горячее солнце, а здесь меркнет свинцовый день, вьется липкий осенний снег, и по утрам мороз щиплет пальцы. Мы в летних шинелях. У нас нет валенок. Нет рукавиц. Кто-то, мудрый, ворует в тылу.

На городской площади изгнившие тротуары, конский навоз и пыль. Бабы в белых платках, крестьяне в белых тулупах. Евреев почти не видно. Евреи ушли в леса, со стариками, женами и детьми, с коровами и домашним скарбом. Мы не освободители в их глазах, а погромщики и убийцы. На их месте я бы тоже ушел.

Погромы, грабежи и насилия запрещены строжайшим приказом. За нарушение — смертная казнь. Но я знаю, что вчера во втором эскадроне играли в карты на часы и на кольца; что ротмистр Жгун разгромил еврейскую лавку; что у улан завелась валюта — американские доллары; что в лесу нашли истерзанный женский труп. Расстреливать? Двоих я уже расстрелял. Но ведь нельзя расстрелять половину полка.

Я пишу, а в столовой хрипит граммофон. Он хрипит, захлебывается и снова хрипит, точно жалуется на свою машинную немощь. Я слышу, как Федя долго возится, починяя его, и, наконец, с ожесточением плюет. Потом начинает негромко:

Полюбили сгоряча

Русские рабочие

Троцкого и Ильича,

И все такое прочее...

Федя — художник. В свободное от «занятий» время он рисует «картинки». Одну из таких «картинок» он принес мне сегодня. Он написал свой портрет. Те же волосы огненно-рыжего цвета, тот же сплюснутый нос, те же смущающие глаза: один мертвый, выбитый пулей, другой прищуренный, веселый и быстрый. Он не в нашей, а в английской шинели, но с кубиками и пятиконечной звездой. Подписано: «Комиссар Федор Федоров, товарищ Мошенкин».

Он залюбовался своим искусством. Он не в силах оторвать восхищенного взгляда. Если бы он знал историю, он бы вообразил себя Неем или Даву (маршалы Наполеона — Ред.) На самом деле, он бывший бакалейный торговец, владимирский мещанин. Налюбовавшись, он говорит:

— Граммо-граммо-граммограф... Пате-пате-патефон... А нельзя ли на выставку, господин полковник, послать?

5 ноября.

Я приказал оседлать Голубку и выехал в поле. Застоявшаяся кобыла весело бежала размашистой рысью, звонко цокая по дождовым лужам. День был ненастный и теплый. Со свистом носился ветер. Разорванные, черно-лиловые облака низко опускались на землю.

Я люблю простор широких полей. Я люблю синеву далекого леса, оттепель и болотный туман. Здесь, в полях, я знаю, знаю всем сердцем, что я русский, потомок пахарей и бродяг, сын черноземной, напоенной потом, земли. Здесь нет и не нужно Европы — скучного разума, скупой крови и измеренных, исхоженных до конца дорог. Здесь — «не белы снеги», безразсудство, буйство и бунт.

Я остановился на берегу Березины и пешком пошел вдоль реки. Она струилась спокойная и глубокая. Ее пустынные воды сверкали Инеем ломкого льда. Слезился ржавый кустарник, нога скользила в мокрой траве, и Голубка, мягко ступая, тыкалась мне мордой в плечо. Я слышал ее дыхание, и мне казалось, что и она, и нависшее небо, и Березина, и шуршащий тростник, и я — одно неразделимое целое, единый, замкнутый и непознаваемый мир... И мне вспомнилась Ольга. Она вспомнилась мне такой, какою я видел ее когда-то, в Москве, — в белом платье и соломенной шляпе. Где Ольга? Что с нею?

6 ноября.

Россия — Ольга, Ольга — Россия. Если не будет Ольги, моя влюбленность в Россию потеряет свою глубину. Если не будет России, моя любовь к Ольге утратит всеобъемлющий смысл. Жить в России без Ольги все равно, что влечиться с Ольгой в изгнании, — влечиться на «поломанных крыльях», дрожа и «прижавшись к праху».

7 ноября.

Вчера у меня в саду повесили Назаренку. Он не сознался. Он, как зверь, отлеживался на кухне. Верил ли он, что умрет?

Был восьмой час утра. Всходило холодное солнце. За ночь выпал пушистый снег и замел песок на дорожках. Назаренко вышел с Егоровым на крыльцо. Потом, поеживаясь и жмурясь, стал под березу. На березе, на догола обнаженном сукне,

верхом сидел Федя. На улице молча толпились уланы.

— Начинай.

Назаренко глубоко вздохнул. Он был без шапки, в короткой, белой, расстегнутой на шее, рубахе. Егоров толкнул его в бок.

— Лоб-то... Лоб-то перекрести, сукин сын.

Я видел, как быстро-быстро задвигались пальцы и зашевелились синие губы. И я скорее почувствовал, чем услышал:

— Господин... Господин полковник!..

Но Егоров угрюмо сказал:

— Даже помереть не умеешь. На что крешишься?.. Крестись на восход.

Федя накинул веревку. Подогнулись худые колени, и голова опустилась вниз. Повисло длинное, бессильное тело. Федя спрыгнул, дернул за ноги и закричал на улан:

— Чего не видели? Расходись!..

8 ноября.

Поручик Вреде, гусар, провел всю войну на фронте, ходил на проволоку в конном строю, был ранен и заслужил Георгиевский крест. Коммунисты посадили его в тюрьму. Из тюрьмы он бежал. Он командует вторым эскадроном.

Каждый вечер он приходит ко мне, садится на турецкий диван и курит. Он совсем еще мальчик, белокурый, с розовыми щеками и детским пухом вместо усов.

— Юрий Николаевич, почему мы стоим в этой дыре?

— Приказано.

— А скоро пойдем вперед?

— Когда прикажут.

Он хмурит тонкие брови.

— Надоело.

— Идите один.

— Вы всегда надо мной смеетесь.

— Смеюсь? Бог с вами, Вреде... Если бы мне надоело, я бы ушел.

— Куда?

— В лес.

Скудеет день, загорелись первые звезды. За окном морозная ночь. Вреде ходит из угла в угол.

— Нас было три сестры и два брата, и отец, генерал. Мать скончалась давно. Было у нас имение, усадьба под Ригой. Отца расстреляли, старший брат убит на Кавказе, а о сестрах я ничего не знаю. Имение разгромили, конечно... Ну, вот... Отца и брата я им простить не могу...

— У Назаренки тоже, наверное, есть брат.

— У Назаренки?.. Так ведь он коммунист.

— А вы белый?

— Да, белый. Я за Россию.

Я улыбаюсь:

— И за усадьбу?

— За усадьбу? Нет... Чорт с нею, с усадьбой. Я не горюю: пусть разживают-ся мужики.

Федя вносит зажженную лампу. Погасли звезды в окне, запахло махоркой и керосином. Федя прикручивает фитиль и говорит, вытирая жирные пальцы о скатерть:

— И разживутся, и попользуются, господин поручик... Уж такой, стало быть, вороватый народ...

9 ноября.

У Егорова сожгли дом и убили сына. У Вреде убили отца. У Феди убили мать. Я понимаю, за что они ненавидят. Но за что ненавижу я?

У меня нет дома и нет семьи. У меня нет утрат, потому что нет достояния. И я ко многому равнодушен. Мне все равно, кто именно ездит к Яру, — пьяный великий князь или пьяный матрос с серьгой: ведь дело не в Яре. Мне все равно, кто именно «обогащается», то есть ворует, — царский чиновник или «сознательный коммунист»: ведь не единственным хлебом жив человек. Мне все равно, чья именно власть владеет страной, — Лубянки или Охранного Отделения: ведь кто сеет плохо, плохо и жнет... Что изменилось? Изменились только слова. Разве для суеты поднимают меч?

Но я ненавижу их. В распояску, с папиросой в зубах, предали они Россию на фронте. В распояску, с папиросой в зубах, они оскверняют ее теперь. Оскверняют быт. Оскверняют язык.

Оскверняют самое имя: русский. Они кичатся тем, что не помнят родства. Для них родина — предрассудок. Во имя своего копеечного благополучия они торгуяют чужим наследием, — не их, а наших отцов. И эти твари хозяйничают в Москве...

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха,
Выди на улицу —
И убей!

10 ноября.

Москва... Москва — начало и конец моей жизни. Без Москвы, без ее кривых переулков, Христа Спасителя, Арбата и Кремлевских ворот, без ее богатства, славы, унижения и нищеты, нет Родины, а значит нет и меня. «Горят кресты на церквях, скрипят по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах, и у Страстного монастыря звонят к обедне. Я люблю Москву. Она мне родная».

Верю ли я в победу? В тылу тупоумие, взятки и воровство, — слепорожденные мыши. На фронте тупоумие, доблесть, разбой, — не воины в белых одеждах, а двойники своих же врагов. Я боюсь, что настанет день, и мы, как стадо овец, метнемся обратно. Метнемся, потому что корыстно любим Москву.

11 ноября.

Слава богу, мы выступаем. Из штаба армии получено приказание идти на Грабово и Бобруйск. Я велел отслужить молебен. Гололедица. Сеет дождь. Снег растаял на мостовой и смешался с желтым песком. Бурая грязь налипает на сапоги, липнет в руках кубанка. Священник вяло бормочет: «О мире всего мира и

о спасении душ наших господу помолимся...», и Федя в мокрой шинели тянет вместо дьячка: «господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй...» Уланы крестятся. Многие стоят на коленях. Один Егоров остался дома. Он согрешит, если будет молиться с нами: мы «нехристи» и «еретики».

12 ноября.

Входит Вреде. Он взволнован. Голос его дрожит:

— Юрий Николаевич, что же это такое? Я больше так не могу. Что мы, погромщики, в самом деле?.. Вы знаете, что случилось?

— Что?

— Жгун застрелил еврея.

— Из-за чего?

— Из-за денег.

Ротмистр Жгун храбрый и исполнительный офицер. Но он грабитель. Он не говорит «ограбил» или «украл», а говорит «покупил» шубу, «покупил» кольцо, «покупил» сапоги. Это же слово повторяют за ним и уланы. Пока не было крови, я закрывал поневоле глаза. Но сегодня дело другое. Я выхожу на крыльцо.

— По коням!

Федя подает мне Голубку. Я трогаю ее шагом к первому эскадрону. Впереди, на высоком, сером в яблоках, жеребца ротмистр Жгун. Я узнаю высокого жеребца: он взят в бою у красного офицера.

— Ротмистр Жгун!

— Я.

У него добродушное, красное, с рыжими усами лицо. Ему лет 40. Он из вахмистров царской службы.

— Вы убили еврея?

— Так точно.

— За что?

— Да ведь жид, господин полковник...

— Я спрашиваю: за что?

Он побагровел, но не произносит ни слова. Я говорю трубачу:

— Трубач, за что ротмистр Жгун застрелил еврея?

Трубач потупился: боится начальства. Но я настаиваю:

— Я приказываю тебе. Отвечай.

— За часы, господин полковник.

— Вы слышали, ротмистр Жгун?

Он молчит. Он «ест» меня по-солдатски глазами... Тогда я говорю:

— Расстрелять.

Я поворачиваю Голубку. И я не вижу, но знаю, что Егоров и Федя уже стаскивают его с седла и ставят тут же, у поповского дома, к стене. Я жду. Я жду недолго. Трещат два выстрела. Я командую:

— Справа по три. За мной! Шагом... ма-арш!

13 ноября.

Я помню: я познакомился с Ольгой случайно. Я шел по Петровскому парку. Был один из тех хромоногих дней, когда тревожит ненужная память и не смыва-

ются «печальные строки». Я встретил девушку. Она спросила дорогу. Мы долго шли рядом. Я молчал. Я молчал потому, что мне было жутко, — жутко моей сердечной тоски. А потом... Потом я наклонился к ней и взял ее руку. Но она посмотрела мне прямо в глаза так доверчиво и так ясно, что я смущался. И в смущении зародилась любовь.

14 ноября.

Просека. Лесная дорога. Кругом густой и частый, дремучий бор. Не скрипнет ель, не дрогнет подгнивший сучок, не хрустнет, падая, ветка. Пофыркивают негромко кони, и гулко и ровно постукивают сотни копыт. Изредка Федя, закуривая, чиркает спичкой. Изредка я вполголоса говорю: «Под ноги налево... Под ноги направо...», и взводные повторяют мою команду. Так мы идем с утра, 1-ый Уланский полк. Идем к Березине.

Расступились темно-зеленые ели, и потянулось проржавленное болото. Кое-где, среди колючей травы, еще алеет брусника. На болоте пасется стадо. Мычят коровы. Пастух в дырявом тулупе тупо нам вслед.

— Откуда?

— Из Бухчи.

— Есть в Бухче красные?

— А может и есть...

— Много?

— А может и много...

Он снял картуз и лениво скребет в затылке. Ему все равно — белые или красные, царь, или мы, или коммунисты. Для него все чужие, все незваные гости. Он родился в лесу, в лесу и умрет. Федя, шутя, замахивается нагайкой:

— Пошел вон, лесовик!..

15 ноября.

В Бухче не было красных. Я приказал созвать сход. У церкви собралось человек пятьдесят мужиков, много баб и еще больше мальчишек. Я старался им объяснить, кто мы и во имя чего воюем. Они слушали внимательно, но угрюмо. Я чувствовал, что они мне не верят: в их глазах я был барин. И когда я заговорил о земле, меня сразу прервало несколько голосов:

— А почему у вас генералы?

— А почему с вами паны?

— А почему не платите за подводы?

Что мог я ответить? Да, в тылу у нас царские генералы. Да, помещики тянутся, как пиявки, за нами. Да, в армии идет воровство... Меня выручил из беды Егоров. Он протискался сквозь толпу огромный, седобородый, похожий на раскольничего попа, загремел, показывая корявый палец:

— Это что, огурец или палец? Палец... А я кто? Барин или мужик? Мужик... Так чего зубы-то заговаривать? Бери, ребята, винтовки! Бей их! бесов! Бей бесов окаянных, комиссаров и бар!.. Довольно поцарапствовали над нами!.. Правильно ли я говорю?..

— Перекрестись, что против панов.

Егоров снял кубанку и перекрестился на церковь.

- Бумагу написать можешь?
- Могу.
- А печатку приложить можешь?
- Могу.

Толпа зашумела. Особенно горячились бабы. Я не дождался конца и вернулся в халупу. А вечером Федя мне доложил, что деревня дает семь человек добровольцев. Доложив, он остановился в дверях.

- Нестоящее это дело, господин полковник.
- Почему?
- Да убегут мужичонки эти. Разве им возможно не убежать? Ведь Егоров наврал: неизвестно за что воюем.

17 ноября.

В лесу и в поле, вечером, ночью и днем, меня не покидает острыя мысль, — мысль об Ольге. Позвякивает стремя о стремя. Голубка просит поводьев, остается и снова мягко шагает, а передо мной встает Ольга. Блестят голубые глаза, рассыпались русые косы. Она, смеясь, играет в горелки. Горелки... Какое наивное, навеки забытое слово... Где Ольга? В тюрьме? В подвалах Лубянки? В руках у пьяного комиссара?.. Я не могу, я не смею думать. Огонь обжигает лицо и мутится буйно в глазах.

18 ноября.

Березина оледенела. Сверкает звонкий, голубоватый лед. Выше, вверх по течению, широкая полынья, — говорливые и резвые струи. Садясь на задние ноги, ощущую спускается с крутизны Голубка. У реки она нюхает воздух и пялится в испуге назад. Но я поднимаю хлыст. Она храпит и делает быстрый скачок.

Выехав на луговой берег, я обернулся. Веселою вереницей переправляется полк. Уланы в желтых кубанках, в серых шинелях до шпор и с винтовками за плечами, осторожно ведут некованых лошадей. Впереди трубач Барабошка, тот самый, которого я спросил о Жгуне. Его лошадь скользит и падает на колени. Она беспомощно бьется на льду, а Барабошка хохочет, как сумасшедший. Смеюсь и я. Я не знаю, почему я смеюсь. Но так беспорочно раннее утро, так прозрачен морозный воздух, так разноголоса пробудившаяся река, так бодры кони и так приветливы люди, что я, как мальчик, радуюсь жизни. Жить — не думать, не знать, не помнить...

Полк собирается на лугу. Я выстраиваю его походной колонной. Раздается беззаботная песня. Уланы поют «Олега».

19 ноября.

Федя подает мне бинокль.

- Вот они, господин полковник.

Я вижу: в сизой мгле колышутся тени. Их много. Они двигаются по Бобруйскому тракту. Это красные. Неужели они принимают нас за своих?

- В атаку! В карьер!

Засвистел и резнул лицо воздух, напряглась и выбросилась вперед Голубка.